

слабый отпор, а прирожденные враги этого общества будут вести на него беспощадные атаки до тех пор, пока нарождающийся цезаризм диктатуры пролетариата не подготовит конец тенденций Гракхов и Кателины.

Итак, были обозначены предпосылки для характеристики «белой» революции в ее полном объеме, ее целей, длительности и ее логического развития, — то, что никто до сих пор не отваживался сделать и что, вероятно, было невозможно до вступления этой революции в решающие десятилетия — по итогам Первой мировой войны. Скепсис как предпосылка исторического взгляда, взгляд на историю сверху — так же как и презрение к человеку в качестве необходимой предпосылки глубокого знания человека — не является началом вещей.

Эта революция начинается не с материалистического социализма XIX века и еще меньше с большевизма 1917 года. Она «перманентна», если использовать одно из ее же расхожих выражений, с середины XVIII века. Тогда рационалистическая критика, называвшая себя гордо философией Просвещения, начала переносить свою разрушительную деятельность с теологических систем христианства и традиционного мировоззрения просвещенных людей, которое было ничем иным, как теологией без воли к системе, на факты действительности, на государство, на общество, наконец, на сложившиеся формы хозяйства. Эта критика постепенно лишала понятия «народ», «право» и «правительство» их исторического содержания и представляла различие между богатством и бедностью материалистически как моральное противоречие, которое утверждала это скорее в целях агитации, не будучи честно убеждена в своем утверждении. Сюда от-

носится политэкономия (Бапоаюкопогше), основанная как материалистическая наука в 1770 году А. Смитом вместе с Хартли, Пристли, Мандевилем и Бенетом, присвоившая себе право рассматривать людей как придаток к хозяйственному положению и объяснять историю, исходя из понятий цены, рынка и товара. Именно в ней впервые появляется понимание труда не как содержания жизни и призвания, а как товара, с помощью которого работник двигает торговлю. Предано забвению все, из чего состоит история: страсти, созидающий напор рас и сильных личностей, воля, способная отдавать приказы, господствовать и брать трофеи; изощренная изобретательность; ненависть, месть, радость от осознания собственной силы и успехов; в то же время торжествуют зависть, лень, низменные чувства неполноценности. Остаются только «законы» денег и цены, находящие свое выражение в статистике и графических кривых.

Попутно начинается самобичевание опускающегося, ставшего слишком остроумным общества, аплодирующего собственному высмеиванию: «Женитьба Фигаро» господина «^е» Бомарше, разыгранная, несмотря на королевский запрет, в замке Жанвиер перед ухмыляющейся придворной знатью; романы господина «ÿе»⁴ Вольтера, проглотившиеся в самых высших кругах от Лондона до Петербурга; рисунки Хогарта, «Путешествие Гулливера»; «Разбойники» и «Коварство и любовь» Шиллера, самые гениальные произведения революционной поэзии, какие только есть, — все они доказывают это своей публикой, абсолютно не принадлежавшей к низшим слоям⁵. То, что было написано в самих «одухотворенных» кругах высшего общества: письма лорда Честерфилда, максимы герцога Ларошфуко, «система природы» барона Гольбаха, — даже не принимая во внимание то, что чтение и письмо не были широко распространены в средних слоях, было непонятно уже из-за остроумности стиля.

И тем лучше умели профессиональные демагоги городского дна, не научившиеся ничему, кроме как держать речи и писать памфлеты, использовать замечательные лозунги из этих работ для агитации среди массы. В Англии беспорядки начались в 1762 году со случая с Уилксом, который из-за оскорбления правительства был осужден прессой и вследствие этого все время переизбирался в нижнюю палату. На собраниях и в плановых беспорядках звучал призыв «Уилкс и свобода!», с помощью которого требовали свободы прессы, всеобщего избирательного права, даже республику. Тогда же Марат в Англии и для англичан написал свой первый памфлет «Узы рабства» (1774). Отпадение американской колонии (1776), Декларация всеобщих прав человека и провозглашение республики, их деревья свободы * и тайные союзы в конечном итоге сложились внутри английских движений этих лет⁶. С 1779 года возникают клубы и тайные общества, распространившиеся по всей стране, стремившиеся к революции и рассылавшие с 1790 года приветственные адреса, письма, советы Конвенту и якобинцам. Если бы правящая английская плутократия не была гораздо более энергичной, чем трусливый двор Версаля, революция в Лондоне разразилась бы еще раньше, чем в Париже¹. Парижские клубы, прежде всего фельяны, и якобинцы, их программы, разветвленность их обществ по всей Франции в формах своей агитации являются копией английских клубов. Те, в свою очередь, перевели французское *сйоуен* в качестве обращения к своим членам как *сШген* и новообразованное *сШгене\$5***, переняли лозунг «свобода, равенство, братство» и стали называть королей

* Дерево свободы — дерево или шест, символизирующие свободу человека от всех видов угнетения, обычно украшалось флагами, цветами, эмблемами. В Америке украшенные деревья появились во время Войны за независимость. Р. Берне посвятил Великой французской революции стихотворение «Дерево свободы» (1793).

** Гражданин (*англ.*); гражданин, гражданка (*франц.*).

тиранами. С тех пор и до сегодняшнего дня форма подготовки революций все та же. Тогда же возникло и «всеобщее» требование свободы печати и собраний — главное требование политического либерализма быть свободным от этических традиций, сложившихся в культуре, требование, которое не было всеобщим, но в качестве такового выдвигалось крикунами и писаками, которые жили исключительно этим и желали в условиях свободы достичь частных целей. Однако общество, одержимое *евргей*, «образованные» филистеры XIX века, то есть жертвы этой свободы, возвели свои требования в идеал, недоступный любой критике. Сегодня, когда мы видим перед собой не только надежды XVIII века, но и последствия XX века, можно, наконец, говорить об этом. Свобода от чего, для чего? Кто оплачивает прессу и агитацию? Кто на этом зарабатывает? Эти свободы повсюду выставлялись без прикрас: как орудие нигилизма для уравниловки в обществе, как оружие черни, чтобы впрыснуть в толпу больших городов подобное мнение — своего она не имеет — как самое успешное для достижения этой цели средство. Поэтому свободы — в том числе и всеобщее избирательное право — в настоящее время снова оспариваются, устраняются, превращаются в свою противоположность там, где достигли своей цели и дали в руки людям, извлекающим пользу от этого, насилие — в якобинской Франции 1793 года, в большевистской России и в профсоюзной республике Германии с 1918 года. Когда здесь было больше запретов газет, в 1820 или 1920 году? Свобода всегда была свободой тех, кто хотел завоевать власть, а не устранить ее.

Этот активный либерализм последовательно прогрессирует от якобинства к большевизму. Это не противоречие мышления и воли. Это ранняя и поздняя форма, начало и конец единого движения. И начинается оно около 1770 года с сентиментальных «социально-политических тенденций»: разрушением сословного

общества; возвращением назад к «природе» — к обезличенной орде. Вместо сословия должно было появиться то, что с ним никак не связано: деньги и дух, контора и кафедра, счетовод и писака, вместо жизни, полной форм, — жизнь без формы, без правил, без долга, без дистанции. К 1840 году эта социально-политическая тенденция превращается в «хозяйственно-политическую». Происходит поворот от борьбы против аристократов к борьбе против имущих — от крестьян до предпринимателей. Сторонникам движения обещается уже не равенство прав, а преимущественное право неимущих, не свобода для всех, а диктатура пролетариата крупных городов, «рабочих» (Аг'БекегзСап). Но это не различие в мировоззрении — оно было и остается материалистическим и утилитаристским, а только лишь различие в революционном методе: профессиональная демагогия мобилизует часть народа на классовую борьбу. Сначала, в 1770 году, нерешительно обращались к крестьянам и ремесленникам — и в Англии и во Франции. Воззвания сельских депутатов и депутатов от малых городов в 1789 году, должны были представить «крик нации», были опубликованы профессиональными крикунами и по большей части вообще не были поняты избирателями. Эти слои имели слишком хорошо укорененную традицию, чтобы дать себя использовать в качестве средства и оружия. Без черни восточных пригородов разгул террора в Париже был бы невозможен. В большом городе постоянно требовалось наличие ко всему готовых кулаков. Наверное, тогда речь шла о «хозяйственной» нужде. Налоги и таможня были независимы. Всеобщее избирательное право должно было стать ударом по общественному порядку. Отсюда неудача Конвента: для профессиональных демагогов крестьянство и ремесленники были ненадежными последователями. У них было слишком много инстинкта и слишком мало городского интеллекта. Они были работающими и чему-то

научились; кроме того, они хотели оставить двор или мастерскую своим сыновьям — программы и лозунги действовали на них недолго.

Только около 1848 года монотонно развивающаяся пишущая и говорящая демагогия Западной Европы⁸ нашла наилучшее средство для своих целей: массу, лишенную корней, собравшуюся на северо-европейском угле, тип промышленного рабочего. Следует наконец признать факт, основательно подзабытый в партийных и политических битвах: к возникновению социализма привела не «хозяйственная» нужда, в которую «капитализм» вверг «пролетариат», а профессиональная агитация. Она создавала это «целенаправленное» понимание вещей — например, рисуя накануне 1789 года абсолютно ложную картину крестьянского сословия только потому, что надеялась приобрести в нем безоговорочных последователей⁹. А образованное и полубразованное крестьянство поверило в это, верит еще и сегодня. Слово «рабочий» после 1848 года окружено ореолом святости — без размышлений о его смысле и уместности его применения. «Рабочий класс», разношерстное понятие в хозяйственной структуре (что общего имеют шахтер, матрос, портняжка, металлург, официант, банковский служащий, батрак и дворник?), становится политической реальностью, нападающей партией, которая расколола белые народы на два фронта: первый должен содержать армию партийных функционеров, ораторов-агитаторов, газетных писак, а второй — «представители народа» — проливать свою кровь за личные цели вышеупомянутых. Такова цель этих фронтов. Противоречие капитализма и социализма — слова, для определения которых огромная литература с тех пор предприняла большие усилия, но напрасно, ибо лозунги нельзя определить, — не порождение какой-либо действительности, а лишь возбуждающая конструкция. Маркс внес эту конструкцию в английскую машиностроительную промышленность,

и это стало возможным только потому, что он не учитывал тех людей, что были заняты сельским хозяйством, торговлей, транспортом и управлением. Его видение имеет так мало общего с действительностью и людьми того времени, что даже теоретически отделило Юг от Севера: граница пролегла по линии Лион — Милан. На романтическом Юге, где так мало требуется для жизни, где мало работают, где нет угля и поэтому нет крупной промышленности, где думают и чувствуют расово иначе, развивались анархистские и синдикалистские тенденции, идеал которых разделение больших народных организмов на малые самодостаточные негосударственные группы и бедуинские скопления ничегонеделания. На Севере, где суровая зима требует напряженной работы, где борьба с голодом издавна сопровождается борьбой с холодом, из германской воли к власти, направленной на масштабную организацию, возникают системы авторитарного коммунизма, конечная цель которого установление пролетарской диктатуры во всем мире. И только потому, что на протяжении XIX века вокруг угольных бассейнов северных стран скапливались в невиданных масштабах люди и национальные богатства, демагогия в этих странах и за их пределами тоже получила иной импульс. Низкие зарплаты сельскохозяйственных рабочих на Юге были побеждены высокими зарплатами английских, немецких, американских фабричных рабочих, которые вовсе не были «голодными зарплатами», и только вследствие этого «капиталистического» превосходства партийных средств марксизм победил теории Фурье и Прудона. На крестьянство уже никто не обращал внимание. Как оружие классовой борьбы оно было малозначимо, так как крестьян нельзя было в любое время призвать на бульжную мостовую, а сам характер их собственности и труда противоречит теориям и поэтому не отражается в лозунгах коммунистических программ. Буржуазия и пролетариат — вот это запоминается,

и чем проще человек, тем меньше он замечает то, что остается за пределами этой схемы.

Каждая демагогия выстраивает свою программу с учетом той части нации, на мобилизацию которой она рассчитывает в своих целях. В Риме от Фламиния до Гракхов это было итальянское крестьянство, желающее владеть землей. Отсюда задача Фламинием галльских земель южнее По, и требование раздела *a\$eg puЪHcu* * Гракхами. Но Гракх проиграл, потому что крестьяне, дружно отправлявшиеся в Рим на голосование, должны были возвращаться домой, чтобы собирать урожай. С тех пор демагогия в духе Цинны ** и Каталины рассчитывала на рабов и не на прилежных поденщиков, как это происходило в греческих городах со времен Клеона ***, а на толпу бездельников, которая шаталась по улицам Рима и желала только дармовой кормежки и развлечений: *panem et agcen\$ez* \ На протяжении целого столетия в соревновании за привлечение этих масс на свою сторону затраты правительства вырастали до такого объема, что еще и после Цезаря представляли собой непосильную ношу.

Чем ущербнее такая свита, тем более годится она для использования. И потому большевизм со времен Парижской коммуны 1871 года менее всего пытался воздействовать на грамотных, работающих и трезвых рабочих, думавших о своей профессии и семье, а более всего на чурющийся труда сброд в больших

* Земля в собственности римского государства (*lat.*).

** Луций Корнелий Цинна (128—84), управлял Римом как консул в 87—84 гг. до н. э., в период его правления была сделана попытка вернуться к конституционному правлению, а недавно получившие гражданство италийцы были внесены в списки для голосования.

*** Клеон (ум. 422 до н. э.) — афинский государственный деятель, излюбленная мишень для критики в комедиях Аристофана, его имя стало нарицательным обозначением невежественного и грубого демагога.

городах, готовый в любой момент поджигать и убивать. Поэтому в Германии с 1918 года до большой безработицы правящие профсоюзные партии воздерживались от того, чтобы провести четкое законодательное различие между безработными и отлынивающими от работы. Тогда, вместе с поддержкой так называемой безработицы, существовала нехватка рабочих, прежде всего на селе, и никто не хотел этим серьезно заниматься. Больничные кассы подвергались злоупотреблениям со стороны тысяч людей, стремившихся избежать работы. Безработица в своих истоках была выпестована именно марксизмом. Понятие «пролетарий» исключает радость трудиться. Рабочий, знающий что-либо и гордый своими достижениями, воспринимается не как пролетарий. Он препятствует революционному движению. Он должен быть пролетаризированным, деморализованным, чтобы стать пригодным для этого движения. Это и есть, собственно, большевизм, в котором данная революция находит свою кульминацию, но еще очень нескоро найдет свой конец.

Когда большевизм рассматривается только как русское изобретение, угрожающее завоеванием Западной Европы, это говорит о поверхностном мышлении всего «белого» мира. В действительности он возник в Западной Европе, причем неотвратимо как последняя фаза либеральной демократии 1770 года и как последний триумф политического рационализма, то есть самонадеянного стремления совершенствовать живую историю с помощью книжных систем и идеалов. После июньских битв 1848 года первым прорывом этого большого стиля стала Парижская коммуна 1871 года, которая была близка к тому, чтобы завоевать всю Францию¹⁰. Только армия воспрепятствовала этому — и немецкая политика, морально поддерживавшая эту армию. Тогда, а не в 1917 году в России, в осажденной столице возникли советы рабочих и солдатских депутатов, которые Маркс, про-

стак в практических вопросах, рекомендовал как возможную форму коммунистического правительства. Тогда произошло массовое уничтожение противника, стоившее Франции больше убитых, чем вся война против Германии. Реально тогда главенствовали не рабочие, а всякий бездельничающий сброд: дезертиры, преступники, сутенеры, продажные писаки и, как всегда, иностранцы — поляки, евреи, итальянцы и даже немцы. Но это была специфическая французская форма революции. О Марксе не было и речи, и больше говорили о Прудоне, Фурье, якобинцах 1792 года. Шаткий союз больших городов, то есть самых низших городских слоев, который должен был подчинить себе деревню и господствовать над ней и мелкими городами, — типичная мысль романтического анархизма. Нечто подобное пытался сделать в Париже еще в 1411 году мясник Кабош при помощи вооруженной черни. В Петербурге в 1917 году этот опыт повторили с той же самой «западной» чернью и с теми же самыми лозунгами. «Азиатская» сторона этой русской революции, тогда едва заметная, которой еще сегодня не удалось преодолеть западные коммунистические формы советского господства, нашла свое самое раннее выражение в восстании Пугачева в 1772—1775 годах, который дошел до верховьев Волги и угрожал Москве, то есть самому царизму. Воодушевленное религиозное крестьянство, в том числе целые казацкие семейства, убивало представителей петровской, «по-европейски» устроенной России, попадавших ему в руки: офицеров, чиновников и особенно дворян нового типа. «Наследники» Пугачева могли бы делать то же самое с представителями советской бюрократии и делали бы это охотно и сегодня, возможно, завтра действительно сделают это. Ненависть против этой властной системы с чужого плеча, против которой нынешняя Москва все меньше способна защищаться, очень стара и берет начало в восстании стрельцов против Петра Великого.

Демократы и социалисты Запада вообще не могут почувствовать эту ненависть из-за особенностей своего мышления. Так сегодня проявляется противоречие между действительным большевизмом, бурлящим в подполье «белых» народов, которое породило эту демократию и этот социализм, и ненавистью, концентрирующейся во всем мире среди цветного населения против белой цивилизации вообще, в том числе и против революционных течений.

Но как относится с 1770 года (и уж точно с 1848 года) западноевропейское цивилизованное «общество», привычно называющее себя в сегодняшней Англии средним классом, а на континенте бюргерством, — точно так же забывшее о крестьянстве", — к факту этой набирающей силу революции снизу, давно презирающей и высмеивающей свои первые либеральные шаги: требование свободы (печати, объединений, собраний) как политического просвещения и всеобщего избирательного права, после того как она использовала их в качестве сокрушительных средств разложения? Это позорная глава, которую станут рассказывать будущие историки. Построенная на изначально присущих человечеству господстве, сословиях и владении, она терпела нигилистические нападки на эти основания, «понимала», праздновала, поддерживала их. Это интеллектуальное самоубийство было в прошлом столетии в большой моде.

Все время следует констатировать: общество, в котором сейчас совершается переход от культуры к цивилизации, больно, больно в своих инстинктах, следовательно, и духовно. Оно не защищается. Оно поощряет свое высмеивание и разложение. С середины XVIII века оно все больше распадается на либеральные и — только в противоречии с ними, в отчаянной защите от них — консервативные круги. На одной стороне небольшая группа людей, которые, руководствуясь своими здоровыми инстинктами политической действительности, видят, что происходит, куда

все движется, и пытаются препятствовать, смягчать, отводить. Это личности образца римского кружка Циципона, чьи воззрения выразил Полибий в своем историческом сочинении: это философы и политики типа Бёрка, Питта, Веллингтона, Дизраэли в Англии, Меттерниха и Гегеля, позже Бисмарка — в Германии, Токвиля во Франции. Они пытались защищать властность сложившейся культуры, государство, монархию, армию, сословное сознание, собственность, крестьянство, причем даже там, где встречали непонимание и были оклеветаны как «реакционеры». Это слово, изобретенное либералами, и сегодня применяется по отношению к ним самим их марксистскими отпрысками с того времени, как первые пытались препятствовать последствиям деяний вторых, — в этом и состоит хваленый прогресс. На другой стороне находится почти все, чем обладает городской интеллект или, по меньшей мере, восхищается им как признаком современного превосходства и будущей власти — будущего, которое уже сегодня является прошлым.

Сегодня журналистика присвоила себе право выражать время. Это критический *e\$pn I* XVIII века, разбавленный и упрощенный для понимания умственно посредственных людей, к тому же нельзя забывать, что греческое слово *ктет* означает разрезать, разделять, разлагать. Драма, лирика, философия, даже естественные науки и историография стали передовицами и фельетонами с огульной критикой всего, что консервативно и когда-то внушало почтение². Партия становится либеральным заменителем сословия и государства, революция в форме перманентной массовой предвыборной борьбы с помощью денег и «духа» поднялась — в соответствии с гракховским методом телесного насилия — до конституционного процесса, правление как смысл и задача существования государства подвергается атакам, высмеивается или низводится до партийного бизнеса. Однако

слепота и трусливость либерализма идет дальше. Толерантность гарантируется разрушительным силам низов крупных городов, но не требуется от них. «Приличное» общество Западной Европы с отвратительной сентиментальностью преклонялось перед русскими нигилистами и испанскими анархистами, восхищалось ими, принимая их в своих модных салонах. В Париже и Лондоне и, прежде всего, в Швейцарии тщательно охранялась не только их жизнь, но и их подрывная деятельность. Либеральная пресса прокликает тюрьмы, в которых томятся мученики свободы, но ни слова не услышат многочисленные защитники государственного порядка, в том числе простые солдаты и полицейские, которые при исполнении своего долга подрываются, становятся инвалидами, погибают¹³.

Понятие пролетариата, созданное социалистическими теоретиками с хорошо продуманной целью, было принято бюргерством. Это понятие, не имеющее в действительности ничего общего с тысячью видов дисциплинированного квалифицированного труда — от ловли рыбы до книгопечатания, от рубки леса до вождения локомотива, — презиралось прилежными и грамотными рабочими, они воспринимали его как ругательство, оно должно было служить лишь тому, чтобы направлять чернь больших городов на слом общественного порядка. Именно либерализм, применяя его как устоявшееся понятие, сделал его центром общего политического мышления. Под словом «натурализм» возникла убогая литература и живопись, поднимавшая грязь до эстетической привлекательности, а вульгарные чувства и мышление вульгарных людей — до обязательного мировоззрения. Под «народом» понималась уже не вся нация, а часть городской массы, протестующая против этой национальной общности. Пролетарий казался героем на сцене прогрессивного филистерства, а вместе с ним и уличная девка, и бездельник, и подстрекатель,

и преступник. Отныне современным и серьезным считался взгляд на мир снизу, с точки зрения пивной на углу и улочки с дурной репутацией. Именно тогда в либеральных кругах Западной Европы, а не в России 1918 года возник «пролеткульт». Чреватое последствиями явление — наполовину ложь, наполовину глупость — начало завоевывать умы образованных и малообразованных людей: «рабочий» стал собственно человеком, собственно народом, смыслом и целью истории, политики, заботой общества. Забыли о том, что все люди работают, что прежде всего другие — изобретатель, инженер, организатор — делают больше и более важную работу. Никто больше не отважится рассматривать уровень и качество какого-либо достижения как величину его стоимости. Только время, измеряемое в часах, считается еще работой. К тому же «рабочий» — это одновременно бедный и несчастный, лишенный наследства, голодающий, угнетаемый. К нему одному обращены слова заботы и сострадания. Никто больше не думает о крестьянах и их трудностях, о их скудных земельных участках, неурожаях, о граде и заморозках, о их заботе продать свои продукты; о нищей жизни бедных ремесленников в областях с развитой промышленностью; о трагедиях мелких торговцев, рыбаков, изобретателей, врачей, которые, испытывая страх и подвергаясь опасности, должны бороться за каждый кусок хлеба и которые тысячами погибают незамеченными. Только один «рабочий» находит сочувствие. Его одного поддерживают, обеспечивают страховкой. Более того, он становится святым, идолом времени. Мир вертится вокруг него. Он центр хозяйства и любимец политики. Вся жизнь существует только ради него; большинство нации должно служить ему. Можно насмехаться над глупыми и толстыми крестьянами, медлительными чиновниками, жуликоватыми лавочниками, не говоря уже о судье, офицере, предпринимателе — излюбленных объектах

ненавистных шуток, но никто не отважится излить подобный сарказм на «рабочего». Все — праздношатающиеся, только не он. Все эгоисты, но только не он. Бюргерство кадит этому фантому; даже тот, кто очень многого добился в своей жизни, должен падать перед ним на колени. Его существование выше любой критики. Только бюргерство полностью настояло на такой точке зрения, а деловые «представители народа» паразитируют на этой легенде. Они так долго рассказывали об этом наемным рабочим, пока те не почувствовали себя действительно обделенными и нищими, пока без всякой меры не уверовали в значимость своих действий и собственную значимость. По отношению к тенденциям демагогии либерализм является формой, в которой больное общество занимается самоубийством. В этой перспективе оно отказывается от самого себя. Жестокая и беспощадная классовая борьба, ведущаяся против него, находит общество готовым к политической капитуляции — после того как оно само помогло выковать духовное оружие для противника. Только консервативный элемент, сколь бы слабым он ни был в XIX веке, может воспрепятствовать и воспрепятствует в будущем концу общества.

Кем является тот, кто эту массу наемных рабочих в больших городах и промышленных областях поднимает, организует, снабжает лозунгами, вовлекает циничной пропагандой в классовую ненависть к большинству нации? Это не прилежный и грамотный рабочий, «бродяга», как он именуется с полным презрением в переписке Маркса и Энгельса. Энгельс говорит в письме к Марксу от 9 мая 1851 года о демократическом и коммунистическом красном сброде, а 11 декабря 1851 года он пишет Марксу: «Что делать

со сбродом, когда он научается бить?» Рабочий физического труда является только средством для частных целей профессиональных революционеров. Он должен бить, чтобы удовлетворить свою ненависть к консервативным властям и свою волю к власти^М. Если бы хотели признать только рабочего представителем рабочих, тогда скамейки на левой стороне парламента были бы пусты. Среди создателей теоретических программ и революционных вождей нет ни одного, кто действительно многие годы работал бы на фабрике¹⁵. Политическая богема Западной Европы, в которой с середины XIX века развивался большевизм, состоит из тех же элементов, которые образовали революционный либерализм с 1770 года. Будь то февральская революция 1848 года в Париже за «капитализм» или июньские битвы против нее, будь то «свобода и равенство» в 1789 году для среднего сословия, а в 1793 и 1918 годах для низших слоев, — в действительности цели зачинщиков и их мотивы одинаковы. Сегодня так же обстоят дела в Испании, а завтра, вероятно, будет и в Соединенных Штатах. Это духовная чернь, во главе которой неудачники из академических кругов, духовно немощные и душевно неразвитые, откуда выходят гангстеры либеральных и большевистских восстаний. «Диктатура пролетариата», то есть их собственная диктатура с помощью пролетариата, должна быть их мезью счастливым и благополучным, последнее средство для успокоения больного тщеславия и вульгарной жажды власти, сформированной неуверенностью самосознания.

Среди всех этих юристов, журналистов, учителей, художников, техников обычно упускают из виду один, самый роковой тип — опустившихся священников. Забывают глубокое различие между религией и церковью. Религия — это личное отношение к силам окружающего мира, выражающееся в мировоззрении, благочестивом обычае и поведении, основанном на самоотречении. Церковь же это организация

священнослужителей, борющаяся за свою мирскую власть. Она стремится охватить своей властью формы религиозной жизни и людей, связанных с ними. Поэтому она первый враг остальных властных образований — государства, сословия, нации. Во время персидских войн дельфийские священнослужители агитировали за Ксеркса и против национальной обороны. Кир мог завоевать Вавилон и свергнуть последнего халдейского царя Набонида, потому что жрецы Мардука договорились с ним. Древнеегипетская и древнекитайская история полна примеров подобного рода, а в Европе перемирие между монархией и церковью, трон и алтарем, дворянством и священниками существовало только тогда, когда их союз против третьего обещал большие преимущества. «Царство мое не от мира сего» — это глубокое выражение, относящееся к любой религии и любой церкви. Но любая церковь по определению обречена подчиняться условиям общественной жизни: она думает властно-политически и материально-хозяйственно; как и государство, она не чужда дипломатическим и военным способам в ведении своих войн и, как другие властные институты, подвержена периодам подъема и упадка. И кроме того, она — принимая во внимание консервативные традиции и политику в государстве и обществе — не является честной и как церковь не может быть такой. Новообразованные секты в своей основе враждебны государству и собственности, противостоят сословности и иерархичности, провозглашают всеобщее равенство¹⁶. А политика традиционных церквей, пусть даже они консервативны внутри самих себя, все время стоит перед искушением стать либеральной, демократической, социалистической в отношении государства и общества, то есть миротворицей и разрушительницей, когда начинается борьба между традицией и чернью.

Священники — люди, и потому судьба церкви зависит от человеческого материала, который ей слу-

жит. Но в эпоху общественного упадка и революционного разрушения старых форм даже самый строгий выбор — а он, как правило, безупречен — не может поставить заслон вульгарным инстинктам и вульгарному мышлению. В подобные эпохи всегда найдутся священнослужители, предающие церковные ценности ради сомнительных партийных и политических интересов, связывающие себя с силами переворота, помогающие с помощью сентиментальных фраз о любви к ближнему и защите бедных освободить «от оков» подпольный мир для разрушения порядка, — порядка, с которым абсолютно и всей судьбой связана церковь. Религия есть то, что составляет душу верующего. Церковь настолько имеет значение, насколько высок и крепок духовный материал священнослужителей, которые ее представляют.

У истоков Французской революции, наряду с кучкой опустившихся аббатов, стояли беглый монах Фуше и мятежный епископ Талейран, многие годы насмешливо писавшие о монархии, авторитете, сословию, убийцы королей и воры, укравшие миллионы, наполеоновские герцоги и предатели родины. Начиная с 1815 года христианский священник все чаще становится демократом, социалистом и партийным политиком. Лютеранство и пуританизм, которые вообще не являются церковью как таковые, не проводили деструктивной политики. Отдельный священник шел для себя «в народ» и в рабочую партию, выступал на предвыборных собраниях и в парламентах, писал о «социальных» вопросах и заканчивал как демагог и марксист. Однако католический священник, более привязанный к церкви, подтягивал за собой и церковь. Церковь становилась частью партийной агитации, сначала как действенное средство, а впоследствии как жертва этой политики. Католическое профсоюзное движение с социалистическими синдикалистскими тенденциями существовало во Франции уже при Наполеоне III. В Германии оно возникло после

1870 года из опасения, что красные профсоюзы одни завоюют власть в промышленных районах.

Прошли времена, когда миром правили взгляды Льва XIII *, а в Германии правил настоящий князь церкви, кардинал Копп. Тогда церковь старалась быть консервативной властью и точно знала, что ее судьба связана с другими консервативными властями, государственным авторитетом, монархией, общественным порядком и собственностью, поэтому в классовой борьбе против либеральных и социалистических сил она неизбежно должна стоять на «правой» стороне и пережить власть революционной эпохи. Вскоре все быстро изменилось. Духовная дисциплина была поколеблена. Провокаторы-священнослужители дискредитировали своей деятельностью всю церковь, и высшие церковные сановники должны были молча сносить этот факт, чтобы не демонстрировать свое бессилие перед миром. Когда-то благородная церковная дипломатия, на протяжении десятилетий деликатно разрешавшая многие вещи, уступила решение многих проблем вульгарным методам сиюминутной политики, напору партийной демократической агитации с ее подлыми уловками и ложными аргументами. Теперь думают и действуют на уровне городского дна. Исторически сложившаяся устремленность властвовать во всем мире сменилась мелочными честолюбивыми успехами на выборах и союзами с плебейскими партиями для достижения материальных стяжаний. Отребье среди священнослужителей, когда-то строго обуздывавшееся, теперь со своим пролетарским мышлением занимает господствующее положение среди драгоценной части кли-

* Папа римский с 1878 года; 1-й папа, избранный после объединения Италии и ликвидации Папской области. Стремился расширить влияние католической церкви во всех сферах жизни общества. Ему удалось добиться отмены большинства антикатолических законов, изданных в Германии в период «культуркампфа», а его попытки поставить церковь во главе профсоюзного движения снискали Льву XIII прозвище «пролетарского папы».

ра, считающей душу людей важнее их голосов на выборах и воспринимающей метафизические вопросы серьезнее, чем демагогическое вмешательство в хозяйственную жизнь. Тактические ошибки, подобные той, что произошла в Испании, когда было решено, что можно разделить судьбу трона и алтаря, несколько десятилетий назад были бы невозможны. Однако после окончания мировой войны церковь, прежде всего в Германии, являясь давно сложившейся властью с устоявшимися сформированными традициями, должна дороже платить за свою деградацию, опустившись до забегаловки, еще пользующейся уважением прихожан, благодаря агитации ущербных сторонников классовой борьбы и союза с марксизмом. В Германии есть католический большевизм, более опасный, чем антихристианский, потому что он прячется под маской религии.

Все коммунистические системы Старого Света действительно выросли из теологического христианского мышления. «Утопия» Мора, «Город Солнца» доминиканца Кампанеллы, теории Карлштадта и Томаса Мюнцера — учеников Лютера, государственный социализм Фихте. Те идеалы будущего, о которых мечтали и писали Фурье, Сен-Симон, Оуэн, Маркс и сотни других, в значительной мере восходят, вопреки их желанию, к негодованию религиозной моралью и к тем схоластическим понятиям, которые скрытно действуют в представлениях национальной экономики и в общественном мнении по поводу социальных вопросов. Сколько представлений о естественном праве и государстве взяты Адамом Смитом у Фомы Аквинского и сколько их содержится в «Коммунистическом манифесте»? Христианская теология является бабушкой большевизма. Все абстрактные размышления об экономических понятиях далеко отводят в сторону от всякого хозяйственного опыта. Если эти размышления мужественно и честно доводятся до конца, то приводят к умозаключениям,

направленным против государства и собственности, и только узость взглядов не позволяет схоластам от материализма увидеть, что конец их мыслительных штудий совпадает с началом: осуществленный коммунизм есть авторитарная бюрократия. Чтобы воплотить идеал, нужна диктатура, господство ужаса, вооруженная власть, неравенство господ и рабов, приказывающих и повинующихся, короче говоря, — система Москвы. Но есть коммунизм двоякого рода. Один, фанатично верующий, одержимый, по-женски сентиментальный, чуждый и даже враждебный миру, отвергает и богатство грешных счастливых, и бедность порядочных несчастных. Он кончает либо туманными утопиями, либо аскезой, монастырем, либо богемой и бродяжничеством, — тем, что провозглашает тщету любых хозяйственных устремлений. Другой, «мирской», реально-политический коммунизм хочет с помощью своих сторонников, вооружившись завистью и местью, разрушить общество, потому что оно указывает им — исходя из их личности и способностей — более низкое место, нежели то, на которое они претендуют или посредством какой-либо программы увлекает массы за собой, чтобы удовлетворить свою волю к власти. Но и это ловко скрывается под маской религии.

Марксизм тоже религия, но не по замыслу своего создателя, а по модели его революционных последователей. У марксизма есть свои святые, апостолы, мученики, отцы церкви, своя библия и свой миссия; у него есть свои догмы, своя инквизиция, свои ортодоксы и схоласты и, прежде всего, своя мораль или, как в какой-нибудь церкви, скорее две — для верующих и неверующих. А то, что марксистское учение насквозь материалистично, — разве это принципиально? Разве все те священники, которые как пропагандисты вмешиваются в хозяйственные вопросы, не являются материалистами? А что такое христианские профсоюзы? Христианский большевизм

и ничто другое. С начала рационалистической эпохи, то есть с 1750 года, существует материализм с христианской терминологией и без нее. Тот материалист, кто придает оттенок моральности понятиям бедности, голода, нужды, труда и зарплаты в значении слов «богатый» и «бедный», «справедливый» и «несправедливый» и вследствие этого выдвигает наряду с денежными требованиями пролетарского толка требования социальные и экономические. И тогда, естественно, место алтаря занимает партийный комитет, церковная кружка превращается в предвыборную кассу, а профсоюзный чиновник становится последователем святого Франциска.

Этот материализм современных больших городов есть форма воплощения практического мышления и действия, а заодно, можно сказать, и «веры». Это способ рассматривать «экономически» историю, общественную и личную жизнь, и под экономикой понимается не профессия и содержание жизни, а метод, с помощью которого можно при минимуме усилий получить столько денег и удовольствия, сколько это возможно: *panem eX agcemev*. Большинство еще и сегодня не осознает, насколько материалистично они живут и мыслят. Можно усердно молиться, исповедоваться, постоянно иметь на устах слово «Бог»¹⁷, можно даже быть священником по убеждению и профессии и, несмотря на это, быть материалистом. Христианская мораль предполагает одно лишь самоотречение. Тот, кто этому не следует, — материалист. «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой» — значит воспринимать жесткий смысл жизни как данность, а не как вынужденность и не пытаться обойти его посредством партийной политики. Однако для пролетарской предвыборной пропаганды этот тезис вообще непригоден. Материалист, скорее, захочет съесть хлеб, о котором в поте лица своего позаботились крестьянин, ремесленник, изобретатель, управляющий хозяйства. Между тем знаменитое игольное

направленным против государства и собственности, и только узость взглядов не позволяет схоластам от материализма увидеть, что конец их мыслительных штудий совпадает с началом: осуществленный коммунизм есть авторитарная бюрократия. Чтобы воплотить идеал, нужна диктатура, господство ужаса, вооруженная власть, неравенство господ и рабов, приказывающих и повинующихся, короче говоря, — система Москвы. Но есть коммунизм двоякого рода. Один, фанатично верующий, одержимый, по-женски сентиментальный, чуждый и даже враждебный миру, отвергает и богатство грешных счастливых, и бедность порядочных несчастных. Он кончает либо туманными утопиями, либо аскезой, монастырем, либо богемой и бродяжничеством, — тем, что провозглашает тщету любых хозяйственных устремлений. Другой, «мирской», реально-политический коммунизм хочет с помощью своих сторонников, вооружившись завистью и местью, разрушить общество, потому что оно указывает им — исходя из их личности и способностей — более низкое место, нежели то, на которое они претендуют или посредством какой-либо программы увлекает массы за собой, чтобы удовлетворить свою волю к власти. Но и это ловко скрывается под маской религии.

Марксизм тоже религия, но не по замыслу своего создателя, а по модели его революционных последователей. У марксизма есть свои святые, апостолы, мученики, отцы церкви, своя библия и свой миссия; у него есть свои догмы, своя инквизиция, свои ортодоксы и схоласты и, прежде всего, своя мораль или, как в какой-нибудь церкви, скорее две — для верующих и неверующих. А то, что марксистское учение насквозь материалистично, — разве это принципиально? Разве все те священники, которые как пропагандисты вмешиваются в хозяйственные вопросы, не являются материалистами? А что такое христианские профсоюзы? Христианский большевизм

и ничто другое. С начала рационалистической эпохи, то есть с 1750 года, существует материализм с христианской терминологией и без нее. Тот материалист, кто придает оттенок моральности понятиям бедности, голода, нужды, труда и зарплаты в значении слов «богатый» и «бедный», «справедливый» и «несправедливый» и вследствие этого выдвигает наряду с денежными требованиями пролетарского толка требования социальные и экономические. И тогда, естественно, место алтаря занимает партийный комитет, церковная кружка превращается в предвыборную кассу, а профсоюзный чиновник становится последователем святого Франциска.

Этот материализм современных больших городов есть форма воплощения практического мышления и действия, а заодно, можно сказать, и «веры». Это способ рассматривать «экономически» историю, общественную и личную жизнь, и под экономикой понимается не профессия и содержание жизни, а метод, с помощью которого можно при минимуме усилий получить столько денег и удовольствия, сколько это возможно: *panem eX agcenzez*. Большинство еще и сегодня не осознает, насколько материалистично они живут и мыслят. Можно усердно молиться, исповедаться, постоянно иметь на устах слово «Бог»¹⁷, можно даже быть священником по убеждению и профессии и, несмотря на это, быть материалистом. Христианская мораль предполагает одно лишь самоотречение. Тот, кто этому не следует, — материалист. «В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой» — значит воспринимать жесткий смысл жизни как данность, а не как вынужденность и не пытаться обойти его посредством партийной политики. Однако для пролетарской предвыборной пропаганды этот тезис вообще непригоден. Материалист, скорее, захочет съесть хлеб, о котором в поте лица своего позаботились крестьянин, ремесленник, изобретатель, управляющий хозяйства. Между тем знаменитое игольное

партии, руководит ими, очень быстро попадает под влияние марксистской идеологии, которая под собирательным понятием «капитализм» преследует любое политическое и хозяйственное руководство, общественный порядок, авторитет, собственность. Такой деятель быстро находит последователей, разделяющих его понимание хозяйственной жизни как классовой борьбы, развивает это понимание, поскольку хочет остаться вождем. Пролетарский эгоизм по своим целям и средствам является формой, в которой уже почти столетие происходит «белая» революция, и неважно, называет она себя социальным или социалистическим движением, а ее вожди считают себя христианами или безбожниками. Бурным расцветом улучшающих мир теорий отмечено первое столетие рационализма — от «Общественного договора» (1762) до «Коммунистического манифеста» (1848). Когда-то, подобно Сократу и софистам, верили во всемогущество человеческого разума, его способность иметь власть над судьбой и инстинктами и быть в состоянии упорядочивать жизнь общества и управлять им. Даже в системе Линнея человек определен как *кото заргенз*. Однако в человеке забыли зверя (Везгте), который недвусмысленно напомнил о себе в 1792 году; никогда не отдалялись столь далеко от скепсиса настоящих знатоков истории и старых мудрецов, знавших, что в человеке с юности сидит злость. В доктринерских программах народы организованно двигались к высшему, завершённому счастью. По крайней мере, в это верили читатели, а насколько в это верили сами писатели — это уже другой вопрос.

Но после 1848 года все это закончилось. Система Маркса еще и потому стала самой действенной, что она была последней. Тот, кто сегодня создает политические или хозяйственные программы для спасения человечества, — старомоден и скучен. Но агитационное воздействие подобных теорий на дураков — Ленин относил к ним девяносто пять процентов всех

людей — все еще значительно (а в Англии и Америке даже возрастает), за исключением Москвы, где по политическим соображениям делают вид, что верят.

Сюда же относятся, в сущности, классическая политэкономия 1770 года и столь же давнее материалистическое, то есть «хозяйственное», понимание истории, сводящие тысячелетия человеческого общества к понятиям рынка, цены и товара. Они внутренне родственны, во многом тождественны и неотвратимо ведут к мечтам о Третьем рейхе, которым благодаря вере в прогресс XIX века завершился бы конец истории. Это была материалистическая пародия на идеи великих готических христиан, например Иоахима Флорского о Третьем рейхе. Эта идея должна была обосновать окончательное блаженство на земле, это должна быть сказочная страна всех бедных и нищих, которых все упорнее отождествляли с «рабочим». Должны будут отступить все заботы, настать сладостное ничегонеделание и вечный мир, а путь к этому проложит классовая борьба, которая отменит собственность, «процентное рабство», уничтожит всех господ и богатых. Так утверждался победоносный эгоизм, обозначаемый как «благо человечества» и морально вознесенный до небес.

Идеал классовой борьбы появляется сначала в знаменитом пропагандистском труде 1789 года аббата Сийеса — снова католический священник! — о третьем сословии, которая должна была уравнивать оба высших сословия с низшими сословиями *. Он

* Эммануил Жозе Сийес (1748 — 1836) — один из идеологов и политических лидеров Французской революции. В своем знаменитом памфлете «Третье сословие» сформулировал задачу французских демократов: «Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор? Ничем. Чем оно хочет быть? Чем-то». В эссе «О привилегиях», описывая феодальные порядки во Франции накануне революции, Сийес страстно обличает сословную и политическую систему страны, выступает против аристократии и духовенства и утверждает, что привилегии не только незаконны, но и глубоко аморальны, ибо развращают как человека, так и общество.

последовательно идет от этого раннеревolutionного либерального понимания к поздней большевистской форме 1848 года, переносящей борьбу из политической области в хозяйственную, и цель этой борьбы не само хозяйство, а его разрушение для достижения политических целей. Если здесь «буржуазные» идеологи обнаруживают различия между идеализмом и материализмом, то за блеском лозунгов они не видят истинных целей, которые и там и здесь абсолютно одинаковы. Все теории классовой борьбы созданы с целью мобилизации огромных городских масс. Сначала должен быть создан «класс», с которым следует бороться. Цель была обозначена в 1848 году, когда появился первый революционный опыт, названный диктатурой пролетариата, но который мог бы быть назван диктатурой буржуазии, ибо либерализм не хочет ничего иного. Таков последний смысл конституций, республик и парламентаризма. Однако в действительности каждый раз предполагалась диктатура демагогов, уничтожавших нации с помощью планомерно деморализуемой массы — частично из мести, частично из жажды власти — и мечтавших видеть эти нации поработанными.

Любой идеал исходит от человека, которому он нужен. Идеал как либеральной, так и большевистской классовой борьбы является творением людей, которые либо безуспешно стремились в более высокий слой общества, либо принадлежали ему, не соответствуя его этическим требованиям. Маркс — неудачливый бюргер, отсюда его ненависть к бюргерству. То же относится и к другим юристам, литераторам, профессорах и священникам: они избрали профессию, к которой не имели призвания. Такова внутренняя предпосылка профессионального революционера.

Идеалом классовой борьбы является обязательное свержение — не построение чего-то нового, а разрушение имеющегося. Это цель без будущего. Это воля к Ничто. Утопические программы существуют только

для духовного подкупа масс. Всерьез воспринимается исключительно цель подкупа и планомерное, деморализующее создание класса как боевой части. Ничто не сплачивает лучше, чем ненависть. Но здесь лучше говорить о классовой зависти, чем о классовой ненависти. В ненависти противник признается по умолчанию. Зависть же — это взгляд исподлобья, снизу вверх на высокое, недоступное, непонятное, что хотелось бы спустить с небес на землю, примерить на себя, втоптать в грязь, унижить. Поэтому идеальная картина пролетарского будущего складывается не только из счастья большинства⁸, состоящего в приятном ничегонеделании — еще раз: *panem et agcen\$e\$* — и вечного мира, чтобы свободно наслаждаться свободой без забот и ответственности, но и — с подлинно революционным вкусом — из несчастья «немногих» когда-то могущественных, умных, благородных богатых, видом которого можно наслаждаться. Это подтверждает любая революция. Лакеи предаются обжорству за столом своего господина, но это только половина наслаждения — прислуживать должен сам господин.

Объектом классовой борьбы в 1789 году были «тираны»: короли, «юнкера», «попы»; с 1850-х годов вместе с переносом политической борьбы на хозяйственную область объектом стал «капитализм». Безнадежно пытаться определить этот лозунг, — а слово «капитализм» им и является. Оно происходит не из хозяйственного опыта, а понимается морально, чтобы не сказать «полухристиански». Оно обозначает общее понятие экономического зла, большой грех превосходства, дьявола, купающегося в своих хозяйственных успехах. Оно стало — в определенных буржуазных кругах — бранным словом для всех, кто не хочет страдать, имеет положение, для успешного предпринимателя и купца, а также для судьи, офицера, ученого, даже для крестьян. Оно обозначает всех, кто не является «рабочим» и вождем рабочих, кто не

страдает от отсутствия талантов. Это все сильные и здоровые в глазах всех недовольных и духовно убогих.

«Капитализм» вообще не является формой хозяйства или «буржуазным» методом делания денег. Это способ видеть вещи. Есть политэкономы, обнаружившие его во времена Карла Великого и в первобытных поселениях. Политическая экономия с 1770 года рассматривает хозяйственную жизнь, — которая на самом деле лишь одна сторона исторического существования народов, — с точки зрения английского торговца. Тогда английская нация действительно намеревалась сделать мировую торговлю своей монополией. Отсюда ее слава как народа-торгаша, *вкоркеерегз*. Однако торговец только посредник. Он допускает только хозяйственную жизнь, пытаясь поместить ее в центр своей деятельности, от которой зависят все остальные люди в роли производителей и потребителей. Это господствующее положение и описал Адам Смит. Это и есть его «наука». Поэтому вплоть до сегодняшнего дня политэкономия исходит из понятия цены и видит вместо хозяйственной жизни и действующих людей только товар и рынок. Поэтому, прежде всего в социалистических теориях, труд рассматривается как товар, а зарплата как цена. В этой системе нет места ни руководящей работе предпринимателя, ни творчеству изобретателя, ни крестьянскому труду. Видны только фабричные товары, овес, свиньи. Затем крестьяне и ремесленники совершенно забываются, а при распределении людей на классы думают, как Маркс, только о наемных рабочих и о других — «эксплуататорах».

Так возникает искусственное разделение «человечества» на производителей и потребителей, которое усилиями теоретиков классово-борьбы превратилось в коварное противоречие между капиталистами и пролетариями, буржуазией и рабочими, угнетателями и угнетенными. Однако торговцы, собственно «капиталисты», замалчиваются. Владелец фабрики

и помещик — видимые враги, поскольку используют наемный труд и платят заработную плату. Это бессмысленно, но действенно. Глупость теории никогда не была препятствием для ее распространения. Создатель системы всегда критикует, уверовавший в систему — защищает. «Капитализм» и «социализм» родственны в своей глубинной сути, вышли из одного и того же способа рассуждения, отягощены одинаковыми устремлениями и в равной степени устарели. Социализм есть не что иное, как капитализм низшего класса. Манчестерское учение о свободной торговле Кобдена* и коммунистический манифест Маркса возникли в Англии одновременно около 1840 года. Маркс даже приветствовал капитализм со свободной торговлей¹⁹.

«Капитализм снизу» хочет продавать товар «рабочая сила» столь дорого, насколько это возможно, без учета покупательной способности потребителя, и поставлять его столь мало, насколько это возможно. Отсюда ненависть социалистических партий к квалифицированному аккордному труду и их стремление устранить «аристократический» разрыв в оплате между квалифицированными и неквалифицированными рабочими. Такой «капитализм» хочет через забастовки (первая общая забастовка состоялась в Англии в 1841 году) и господствующую в государстве бюрократию рабочих вождей высоко поднять цену физического труда и свободно определять ее, экспроприруя фабрики и шахты. Именно таков тайный смысл огосударствления. «Капитализм снизу»

* Ричард Кобден (1804—1865) — английский политический деятель. С 1828 года занимался торговлей ситцем в Лондоне. Имел ситцевую фабрику в Манчестере. С 1841 года стал членом парламента. Выступал за свободную торговлю, отмену налогов на издание газет, за всеобщее бесплатное начальное образование. В 1860 году добился заключения англо-французского договора, который способствовал свободной торговле в Англии. Противник колониальной политики Британии, принимал активное участие в международных мирных конгрессах.

называет воровством имущество, заработанное людьми одаренными, отличающимися от других, чтобы иметь возможность отнять его с помощью множества кулаков. Так возникает теория классовой борьбы, экономически рассчитанная на благорасположение рабочих, а политически направленная на выгоду для рабочих вождей. Это была кратковременная цель. Низы предвидят не далее завтрашнего дня. Классовая борьба предназначена только для разрушения, ни для чего более. Она должна была устранить политические и хозяйственные устои во имя жажды мести и господства толпы. Что произойдет по ту сторону победы, когда классовая борьба останется позади, эти силы не задумывались.

Так, с 1840 года начинается губительная атака на действительную, бесконечно сложную хозяйственную жизнь белых народов. Она происходит с двух сторон. Гильдия ростовщиков и спекулянтов, крупные финансисты наполняют жизнь акциями, кредитами, наблюдательными советами и заставляют зависеть от своих намерений и интересов руководящую работу специалистов-предпринимателей, многие из которых бывшие работники физического труда, выбившиеся наверх благодаря своему усердию и способностям. Собственно хозяйственный руководитель (У/пгзспапк-ШЬгер) опускается до положения раба финансиста. Он трудится над процветанием фабрики, которое в момент может рухнуть от тайных биржевых спекуляций. А снизу профсоюз рабочих лидеров исподволь и уверенно разрушает организм хозяйства. Теоретическим оружием одних является грамотная «либеральная» политэкономия, формирующая общественное мнение о хозяйственных вопросах, вмешивающаяся своими советами и определениями в законотворчество, оружием других — «Коммунистический манифест», на основании положений которого точно также вмешиваются в законотворчество левого крыла парламентов. Обе стороны представляют чисто ни-

гилистический и негативный принцип Интернационала, направленный против исторических форм, устанавливающих границы: каждая форма, каждый образ есть сложившаяся нация, государство, национальные хозяйства, которые в сумме формируют мировое хозяйство. Эти формы препятствуют замыслам и крупных финансистов, и профессиональных революционеров. Поэтому они отрицаются и должны быть уничтожены.

Однако обе теории сегодня устарели. Что могло быть сказано, сказано уже давно, обе они настолько скомпрометировали себя после 1918 года — принимая во внимание Нью-Йорк или Москву, — что их еще цитируют, но в них уже не верят. В их тени началась мировая революция. Она, возможно, сегодня достигла апогея, но ей еще далеко до своего конца, поскольку она принимает формы, свободные от всякой теоретической болтовни.

Сейчас наконец можно обрисовать «достижения» мировой революции. Ибо революция находится у цели. Она больше не угрожает, она достигла триумфа, она победила. И если ее приверженцы оспаривают это перед другими или — в полном смятении — перед своей собственной совестью, то в этом повторяется только вечный рок человеческой истории, показывающий борцам, достигшим цели, с жестокой ясностью, что дело обстоит совсем иначе, чем они надеялись, и что оно чаще всего не стоило таких усилий.

Этот успех чудовищен. Он настолько ужасен для «белых» народов, что никто не видит или не решается открыто посмотреть на то, что случилось. В этом не имеют мужества признаться себе ни зачинщики, ни еще сохранившиеся в бюргерстве остатки старого общества, которые не способны назвать таких людей

зачинщиками. Путь от либерализма к большевизму развертывается в борьбе против политической власти. Эта власть сегодня разрушена. Со времен Гракхов снова повторяется одно и то же: за короткое время колониями маленьких людей-вредителей источено все, что создано на протяжении столетий немногими крупными и сильными хищниками — государственными деятелями и завоевателями. Старые почтенные формы государства лежат в руинах. Они заменены бесформенным парламентаризмом — мусорной свалкой бывших авторитетов, искусного управления и государственной мудрости, находясь у которой партии, эти шайки политиков-дельцов, спорят о добыче. Передача власти заменена выборами, которые дают доступ к делам новым толпам всякого сброда.

Среди этих партий везде есть рабочие партии и профсоюзы, преследующие политические цели экономическими средствами, а экономические цели политическими средствами. Эти цели и средства после образования вождистского материала, со своими программами и методами агитации, стали задавать тон остальным. Партии вербуют городские массы и подстегивают их бессмысленными надеждами и ожесточающими их обвинениями. Едва ли какая-нибудь партия станет утверждать, что она хочет представлять иную часть нации, чем «рабочих». Партии — почти без исключения — из трусости или в надежде на успешные выборы обслуживают рабочих как привилегированное сословие. Во многих странах рабочий был деморализован, превращен в претенциозное, недовольное и потому самое несчастное существо. Он был сплавлен в единое целое с уличной чернью — «класс». Из рабочего был выпестован тип пролетария, презирающий трудолюбие как измену «делу» и одним лишь своим существованием гарантирующий успех революции, для которого честь стать революционером и предводителем масс. И не важно, сохранили ли эти фронты классовой борьбы облик бюрократических

партий или профсоюзов — марксистских, католических и национальных, как в Германии и Англии, приняли ли они романтическую форму анархистских и социалистических союзов, как в Барселоне и Чикаго, действуют ли из подполья — как когда-то в России, а сегодня в Америке. Их деятельность подтверждает, что все они состоят из господствующих групп профессиональных демагогов и безвольно бредущих за ними последователей, которые должны служить едва понимаемой цели и жертвовать собой ради нее. Правительства давно стали их пособниками, либо потому, что некоторые революционные вожди и сами обладают парламентской властью, либо потому, что, находясь под гипнозом рабочей идеологии, не имеют смелости мыслить и действовать самостоятельно.

Партийцы исключительно с помощью политических средств для достижения политической цели правят и хозяйством. Эта цель никогда не терялась из виду: это была классовая борьба против органических властей и форм хозяйственной жизни, называемой «капитализмом». Конечной целью с 1848 года было его уничтожение, и вот она была достигнута. Уже почти столетие экстатически предсказываемая хозяйственная катастрофа наступила. Мировой экономический кризис ближайших и будущих лет не является, как полагает весь мир, преходящим следствием войны, революции, инфляции и выплаты долгов. Его желали давно. Все его признаки говорят о результатах целенаправленной работы пролетарских вождей. Его корни лежат гораздо глубже, чем думают, его воздействие проявляется в долгой и жесткой борьбе против всего, что сегодня является истинно народным (yo1k\$штHсЪ), преодолеть которое по большей части вообще невозможно. Однако предпосылкой его преодоления является смелость видеть то, что происходит, и я опасаюсь, что ее-то очень мало. Ни в какое другое время боязнь совокупного мнения парламентов, партий, ораторов и писак всего

мира не была столь значительной. Все они стоят на коленях перед «народом», массой, пролетариатом, или как там их еще называют, слепо и наивно служащих оружием для вождей мировой революции. Упрек в том, что ты «враг рабочего», может сегодня заставить побледнеть любого политика.

Кто же, собственно, выиграл мировую войну? Определенно ни одно государство — ни Франция, ни Англия, ни Америка. И не белые рабочие, которые оплатили войну сначала своей кровью на полях сражений, потом снижением уровня жизни во время мирового экономического кризиса. Они были главной жертвой своих вождей. Выиграл войну вождь рабочих. То, что повсеместно называется рабочей партией и профсоюзом, а в действительности является профсоюзом партийных чиновников, бюрократией революции, захватили власть и правят сегодня в европейской цивилизации. Они гнали «пролетариат» от забастовки к забастовке, от одной уличной бойни к другой, а сами поступательно двигались от одного опустошительного парламентского решения до другого, поддерживаемые собственной властью или вдохновляемые страхом побежденного бюргерства. Начиная с 1916 года все мировые правительства по возрастающей становятся зависимыми от них и должны выполнять их приказы, если не хотят быть свергнутыми. Они должны терпеть колоссальное вмешательство в структуру и смысл хозяйственной жизни или же сами проводить их в пользу самого малоквалифицированного, чисто исполнительского физического труда, безмерно повышая заработную плату и сокращая рабочее время, принимая разорительные законы о налогах, о доходах от успешной деятельности, о старинных фамильных владениях, о ремеслах и крестьянстве. Общество было разграблено. Так в ходе классовой борьбы была вознаграждена солдатня. Естественное ядро хозяйственного тела — хозяйственное мышление специалистов — было заменено

искусственным, непредметным, партийно-политическим. Равновесие исчезло и строение обрушилось. Но такова и была многие десятилетия открыто изъясляемая цель европейского большевизма: хозяйственная катастрофа была тактическим успехом, пусть даже рабочие об этом и не мечтали. С 1848 года Бебель с восторгом предрекал крах «капитализма», а буржуазия вследствие этого получила «Страшный суд» в виде желанной диктатуры пролетариата, то есть диктатуру своих творцов и вождей.

Но разве это не происходит на самом деле? Если даже не брать во внимание Москву — разве профсоюзная республика в Германии была чем-то другим? Разве для национальных рабочих партий Германии, Англии и даже Италии бюрократически управляемый хозяйственный социализм не является господствующим идеалом? Разве на развалинах мировой экономики не лежат настоящие хозяйственники, владельцы частной собственности как жертвы этой диктатуры? Хозяйственный руководитель (Уг15сбай5гйпгег), специалист, вытеснен партийным вождем (РаггеШпгег), ничего не смыслящим в хозяйстве, но зато много понимающим в демагогической пропаганде. Партийный бюрократ вмешивается в хозяйственное законодательство, ставшее заменой свободному мышлению хозяйственника, руководит бесчисленными комитетами, третейскими судами, конференциями, министерскими бюро, и как еще там могут называться формы его диктатуры, даже влезает в фашистское корпоративное министерство. Он хочет экономического государственного социализма, планового хозяйства, отмены частной инициативы — одним словом, он хочет коммунизма. Даже если наряду с предпринимателем жертвой станет рабочий, профессиональный «рабочий вождь» все равно возьмет в свои руки вождеденную власть и будет осуществлять свою низменную месть тем, кому фактом рождения были даны таланты и преимущества, кто имел способность

смотреть на мир широко открытыми глазами, имел право руководить.

Я знаю наверняка: большинство с негодованием воспринимает крах, ущерб от которого не восполнить, не восполнить всего того, что было построено столетиями, что было долгожданным результатом целенаправленной работы. Это, к сожалению, так, и это можно доказать. Эта работа начинается, когда профессиональные революционеры из поколения Маркса поняли, что в северо-западной Европе промышленность, связанная с углем, стала важнейшей частью хозяйственной жизни. Простое существование повсеместно развивающихся наций зависело от ее процветания. В Англии это уже произошло; в Германии надеялись на это, а доктринеры, видевшие мир как простое деление на буржуазию и пролетариат, считали само собой разумеющимся, что так будет повсюду. Но каковы были обстоятельства в Испании и Италии, где не было угля, даже во Франции (умолчим о России)?²⁰ Удивительно, как был и остается узок горизонт этих теологов от классовой борьбы и как мало на это обращают внимания вплоть до сегодняшнего дня. Была ли включена Африка, Азия, Латинская Америка в сферу их пророчеств и их экономической критики? Задумывались ли они о цветных рабочих тропических колоний? Преднамеренно или неосознанно были проигнорированы эти регионы? И хотя речь шла о будущем «человечества», была охвачена не вся планета, а лишь несколько стран Европы, государство и общество которых предполагалось разрушить.

Здесь было видно, что этого можно достигнуть, если уничтожить жизнеспособность промышленности. И так началась планомерная атака на промышленность в попытках сделать невозможной ее организованную работу. Это случилось, когда в противоположность руководящей работе предпринимателей, изобретателей и инженеров²¹ на фабриках, и сначала

только на них, насильственно сокращалось ежедневное время исполнительного наемного труда.

Рабочее время в XVIII веке в соответствии с всеобщей привычкой к труду у северных крестьян и ремесленников составляло двенадцать часов и более, не будучи при этом закреплено законодательно. В начале XIX века оно было ограничено в Англии двенадцатью часами; около 1850 года, благодаря завоеванному рабочими биллю о рабочем дне, еще раз сократилось — до десяти часов²². После окончательного принятия билль был отмечен в революционных кругах как победа рабочих и как «ущемление промышленности». Полагали, что ей нанесен смертельный удар. С той поры профсоюзы все энергичнее стремились сократить рабочее время, везде распространяя требование к труду наемных работников. В конце столетия рабочий день составлял девять часов, а в конце мировой войны — восемь. Сегодня, когда мы приближаемся к середине XX века, сорокачасовая неделя станет минимумом революционного требования. Поскольку одновременно все строже запрещается работа по воскресеньям, то отдельный работник поставляет от своего товара «труд» только половину первоначального, возможного и естественного количества. И так «рабочий», — который согласно учению марксистской религии, один только и работает, по большей части против своей воли, — стал тем, кто делает меньше всего. Какая профессия еще вынесет столь малые усилия?

Сокращение рабочего дня стало боевым средством забастовки в скрытой, замедленно действующей форме. Ее смысл, однако, проявился в результате того факта, что цена «товара» — недельная заработная плата — не только не уменьшалась, а непрерывно возрастала. Но «стоимость» — действительный доход от исполнительного труда — не является самостоятельной величиной. Она возникает из органической целостности промышленного труда, в котором

гораздо важнее мысль, которую надо воплотить, руководящая работа по управлению и регулированию процесса, снабжение материалами, сбыт изделий, баланс расходов и прибыли, новых устройств и сооружений, новых возможностей. Общий доход зависит прежде всего не от рук, а от головы. Если нет дохода, а продукт не продается, то исполнительный труд обесценивается и вообще не может быть оплачен. Так обстоит дело у крестьян и ремесленников. Однако из-за деятельности профсоюзов часовая оплата физического труда рабочих изъята из единого организма. Она определяется партийным вождем, а не рассчитывается хозяйственным руководителем, и если она этим последним не одобряется и не может быть одобрена, то достигается путем забастовки, саботажа и давления на парламентские правительства. Сотни лет заработная плата измерялась доходами от крестьянского и ремесленного труда, прежде чем многократно возрасти. Прибыль любого хозяйствующего человека зависит от состояния хозяйства, но только не у наемного рабочего. Он претендует на завоеванную партийной политикой стабильную заработную плату, не зависящую от общего положения хозяйственной деятельности, несмотря даже на то, что предприятия могут нести убытки, а производство остановиться. И тогда в рядах «рабочих вождей» раздастся злорадный триумфальный рев. Это будет их очередная победа на пути к «конечной цели».

Сегодня, почти через сто лет после возникновения теории классовой борьбы, когда больше никто реально не верит в нее, есть сомнения, осознают ли еще вожди ту цель, ради которой началась эта разрушительная работа. Однако уже отработанными методами они настаивают на сокращении рабочего времени и повышении заработной платы. Это доказательство их служения партии. И если первоначальный догматический смысл этой борьбы забыт и совесть отсутствует, то сегодня эти требования сводятся к

другим «причинам», прежде всего к «капитализму», которому приписывается вина перед рабочими.

Когда-то учение о «прибавочной стоимости» осуществило насилие над неразвитым сознанием массы. Утверждалось, что весь доход от промышленного производства равен стоимости физического труда и должен быть распределен между рабочими; и то, что хозяйственный руководитель затрачивал на содержание предприятия, закупку сырья, выплату зарплаты, процентов, то есть «прибавочной стоимости», тоже было воровством; что руководители, изобретатели, инженеры вообще не работали, во всяком случае, занимались умственным трудом, который почитался разновидностью ничегонеделания и не должен был высоко стоить. Это была такая «демократическая» демагогия, которая презирала качество любого рода, презирала его и служила только количеству, в том числе и физического труда: «аристократическое» различие между квалифицированными и неквалифицированными рабочими должно было быть снято. Все рабочие должны были получать одинаковую заработную плату. Аккордная работа, более высокие достижения клеймились как измена «делу». И именно в Германии это внедрялось с 1918 года. Конкуренция среди рабочих исключалась, старания мастеров не принимались во внимание, умалялись общие достижения. Сейчас в Москве, находясь «у цели», возвратились к 1848 году, демонстрируя нигилизм и волю к разрушению. Возвратились к продолжительному рабочему дню, низким зарплатам, самой большой в мире разнице — большей, чем в Америке, — между оплатой квалифицированного и неквалифицированного труда, импорту иностранных инженеров, так как свои, значимость которых поняли позднее, были уничтожены: они, согласно «Коммунистическому манифесту», только угнетали рабочих, ничего не создавая.

До конца столетия было распространено мнение — как пережиток теории — о том, что рабочему

причитается «полная стоимость» его труда, что равно общему доходу предприятия. Тем самым признавалась, по меньшей мере, естественная граница требований зарплаты. Попутно и сверх того с 1870-х годов развивался совершенно нетеоретический способ выжимания зарплаты путем политического давления организованных рабочих. Здесь уже не шла речь о пределах, которые ставит хозяйственная жизнь этому ограблению в пользу одного класса, а только о границах политической, парламентской, революционной власти. На рубеже столетия почти во всех «белых» странах, отчетливее всего в Германии после 1918 года, параллельная власть разных профсоюзов, незаконная, как и конституционное правительство, но могущественная, важнейшей своей задачей считает кормежку своих избирателей зарплатами — так «буржуазные» власти покупают разрешение править.

«Настроение рабочих», используемое партийными вождями, стало решающим для всего, на что осмеливаются парламентские правительства. Так возникает факт политических заработных плат, для которых нет естественных экономических границ. Тарифные зарплаты, защищать которые обязалось государство, устанавливаются партией, а не рассчитаны предприятием, тарифный суверенитет профсоюзов стал правом, поставить под сомнение которое не смеет ни правительство, ни какая-либо из буржуазных партий. Политическая зарплата очень быстро выходит за пределы «полной стоимости труда». Именно она, а не конкуренция и перепроизводство ввергла промышленность «белых» стран в такое положение, результат которого — катастрофа мировой экономики — сегодня перед нашими глазами. Зарплатный большевизм, действующий с помощью забастовок, саботажа, выборов, правительственных кризисов, лишил хозяйственную жизнь нации полнокровное™ — не только в Германии, — и эти потери судорожно пытались возместить любыми мыслимыми способами.

Надо представлять себе, что такое «политическая зарплата», чтобы чувствовать давление ее диктатуры на всю хозяйственную жизнь народов. Выходя далеко за собственно денежные выплаты, она исключает заботу «рабочего» о своем существовании и взваливает ее на «других». «Рабочий» стал пенсионером общества, нации. Любой человек должен, подобно любому животному, защищаться от непредсказуемой судьбы или терпеливо переносить ее. У каждого есть свои личные заботы, ответственность и необходимость постоять за себя и за свои цели собственными решениями при любых опасностях. Крестьянин не думает о том, чтобы переложить на плечи других свои трудности со сбытом, последствия неурожая, падежа скота, пожара; ремесленники, врачи, инженеры, купцы, ученые не перекладывают на других свои экономические риски, профессиональную несостоятельность, слабые способности, болезни или несчастные случаи. Каждый должен выбирать, платить ли самому по счетам своей судьбы, стойко снося ее удары, стать ли попрошайкой или погибнуть иным образом. Такова жизнь. Мания быть застрахованным, — а это знак гаснущих жизненных сил, — от старости, несчастного случая, болезни, безработицы, то есть от судьбы в любом мыслимом ее проявлении, укоренилась, распространившись из Германии, в сознании белых народов. Тот, с кем случается несчастье, взывает к другим, не желая помочь самому себе. Однако есть отличие между победоносным марксистским мышлением и исконно германским индивидуалистическим инстинктом испытывать радость от ответственности за себя, от своей борьбы против судьбы, «апог /аН». Каждый обычно пытается согласно своему решению и собственным силам избежать непредвиденного или же противостоять ему, и только «рабочий» избавлен от такого решения. Он один может рассчитывать на то, что другие будут заботиться о нем и действовать ради него. Такая порочная беззаботность,

ранее присущая только золотой молодежи, завладела рабочими в Германии: как только обнаруживается какая-либо нужда, зовут на помощь государство, партию, профсоюз, в любом случае — «других»²³. Эти люди разучились принимать самостоятельные решения и жить под давлением действительных забот.

Однако это означает дальнейшее обременение высокого труда проблемами труда более низкого. Ведь никому не приходит в голову платить политические зарплаты, страховать от любых поворотов судьбы, строить квартиры для крестьян. Устройство игровых площадок, домов отдыха, библиотек, льготные цены на продовольственные товары, железнодорожные билеты, удовольствия — все это непосредственно или через налоги оплачивают для рабочих «другие». Именно это является очень существенной частью политической заработной платы, о чем стараются не думать. Между тем на национальное богатство, выраженное в цифрах, возлагают надежды, а оно является политэкономической фикцией. Оно исчисляется — как «капитал» — из доходов хозяйственных предприятий или курса акций, зависящего от процентов, и падает вместе с ними, когда стоимость действующих заводов ставится под вопрос из-за высокой нагрузки на заработную плату. Фабрика, которая таким образом закрывается, уже стоит не больше того, что заплатят за ее руины. Немецкое хозяйство при диктатуре профсоюзов с 1 января 1925 года до начала 1929 года, то есть за четыре года, испытало ежегодное увеличение нагрузки в виде повышения зарплат, налогов и социальных выплат в сумме 18 225 миллионов марок. Это треть общего национального дохода, размещенного так односторонне. Год спустя эта сумма увеличилась до двадцати миллиардов. Что значили по сравнению с этим два миллиарда репараций! Они угрожали финансовому положению империи и валютной политике, но их давление на хозяйство вообще не принималось во внимание —

по сравнению с влиянием зарплатного большевизма. Произошла экспроприация всего хозяйства в пользу одного класса.

Есть труд более высокий и более низкий — этого нельзя ни отрицать, ни изменить. Это факт культуры. Чем выше развита культура, чем мощнее ее формирующая сила (Сезтакипд), тем больше различие между определяющим и подчиненным деянием любого рода — политическим, хозяйственным или художественным. Ибо культура есть оформленная, пронизанная духом жизнь, зреющая и самосовершенствующаяся форма, овладение которой всегда предполагает высокоразвитую личность. Есть труд, к которому человек должен быть внутренне призванным, и труд вынужденный, потому что только он позволит выжить, так как человек способен только на такой труд. Есть труд, на который способны очень немногие люди, и труд, вся ценность которого состоит в его длительности и количестве. Человек рождается для того или для другого. Это судьба. Это нельзя изменить ни рационалистической, ни сентиментально-романтической уравниловкой (C1e1c5Tac5e9e1).

В европейской истории можно проследить, что, развиваясь параллельно с культурой, общие затраты на труд становятся все больше. Во времена Реформации их было больше, чем в эпоху Крестовых походов, они выросли до огромных размеров в XVIII веке в соответствии с развитием творческого труда и труда руководителя, впоследствии увеличилось количество неквалифицированного массового труда. Поэтому пролетарский революционер, не обладающий культурой, видящий ее снизу, хочет уничтожить ее, чтобы сэкономить на квалифицированном труде и труде вообще. Если больше не будет культурных

Америке разрабатывались угольные месторождения. Сейчас они разведаны и разработаны во всех частях света. Монополия белых рабочих на уголь закончилась. Кроме того, промышленность в значительной степени освободилась от угольной зависимости благодаря силе воды, нефти и передаче электроэнергии. Промышленность может перемещаться и, освобождаясь из-под диктатуры белых профсоюзов, уходит в страны с низкими зарплатами. Рассеяние европейской промышленности полным ходом идет с 1900 года. Индийские прядильни были основаны как филиалы английских фабрик, чтобы «быть ближе к потребителю». Так предполагалось первоначально, однако нескромные зарплаты Западной Европы возымели совсем иное действие. В Соединенных Штатах промышленность перемещается все больше и больше из Чикаго и Нью-Йорка в негритянские области на Юге и не остановится на границе с Мексикой. Развивающиеся промышленные области есть в Китае, Южной Африке, Южной Америке, на Яве. Бегство высококоразвитого производства к цветным продолжается, и белые нескромные зарплаты начинают превращаться в теорию, поскольку предлагаемый за это труд уже не требуется.

До 1900 года опасность уже была велика. Строительство «белого» хозяйства было уже свернуто. Оно грозило обрушиться при первом же всемирно-историческом потрясении под давлением политических зарплат, снижения личного рабочего времени, насыщения внешних рынков сбыта, возникновения внешних промышленных областей, независимых от белых рабочих партий. После 1870 года только невероятный мир, распространившийся на все «белые» страны страх государственных мужей перед непредвиденными ре-

шениями, поддерживал всеобщее заблуждение о невероятно быстро приближавшейся катастрофе. Мрачные предзнаменования не были замечены, на них не обращали внимания. Роковой, поверхностный, почти преступный оптимизм — вера в неуклонный прогресс, выразившийся в цифрах, — овладел рабочими вождями и руководителями хозяйства, не говоря уже о политиках, и поддерживался болезненным раздуванием фиктивного финансового капитала, считавшегося всем миром действительным владением, действительной, надежной денежной стоимостью. Однако примерно с 1910 года начали раздаваться отдельные голоса, говорившие о том, что мир, включая индустриализированное крупное сельское хозяйство, насытился промышленными товарами. Предлагался договор между странами о добровольном ограничении производства. Но призывы повисли в воздухе. Никто не верил в серьезную опасность. Никто не хотел в нее верить. Кроме того, пристрастные хозяйственные наблюдатели неверно толковали понимание экономики как независимой величины, в то время как политика назревающей мировой революции оказалась более могущественной и направляла развитие хозяйства в искаженных формах. Причины происходящего лежали значительно глубже, и дело было не в размышлениях о конъюнктуре. И уже было поздно. Был короткий период самообмана: мол, подготовка мировой войны оттянет на себя многочисленные рабочие руки для военного производства и для регулярной армии.

Затем началась большая война, и с нею, но не под ее влиянием, а потому что уже нельзя было сдерживать, начался экономический крах белого мира. С самого начала эта война велась Англией, родиной практического рабочего социализма, чтобы экономически уничтожить и навсегда убрать с мирового рынка конкурентку Германию, самую молодую великую державу, хозяйственную единицу, развивавшуюся быстрее

всех и в более эффективных формах. В хаосе событий никто не обращал внимания на доводы государственных деятелей, господствовали только военные и чисто хозяйственные соображения, и отчетливо проступала надежда на то, что, разорив Германию, затем Россию и отдельные страны Антанты, можно спасти собственное промышленное и финансовое положение, а следовательно, и своих рабочих. Но это еще не было настоящим началом наступавшей катастрофы. Источником последней на самом деле стал тот факт, что с 1916 года во всех белых странах, участвовали они в войне или нет, в той или иной степени к власти подошла диктатура рабочих. Она сокрушила правительства или вошла в них. Она бесчинствовала в армиях и на флотах. Ее боялись — и по праву — больше, чем самой войны. И когда она окончательно укрепилась, она подняла зарплаты за самый примитивный труд на головокружительную высоту и одновременно установила восьмичасовой рабочий день. Когда рабочие возвратились после войны домой, возник мировой жилищный кризис, несмотря на огромные человеческие потери, потому что победоносный пролетариат теперь хотел жить как буржуа и добился своего. Это был печальный символ крушения старой сословной иерархической власти. Теперь инфляция государственных финансов и хозяйственных кредитов понималась как именно то, чем она и была — одной из самых действенных форм большевизма, который лишил собственности высшие слои общества, они были ограблены, выброшены из жизни общества и из политики. С тех пор в мире царит недальновидное, примитивное мышление вульгарного человека, возомнившего себя всесильным. Это была победа! Противник был сокрушен, будущее почти безнадежно, но месть обществу удовлетворена. Между тем нет ничего тайного, что бы не стало явным. Безжалостная логика истории мстит мстителям — низким завистникам, мечтателям, любителям

грез, которые как слепые стоят перед неумолимыми и равнодушными фактами действительности.

Тридцать миллионов белых рабочих сегодня без работы, не считая многих миллионов, занятых лишь частично, и это несмотря на большие военные потери. Это не последствия войны, ибо половина рабочих живет в странах, косвенно принимавших участие в войне, и не последствия военных долгов или неудач денежной политики. Безработица повсеместно соответствует величине политической тарифной зарплаты. В отдельных странах она столь же точно соответствует числу белых промышленных рабочих. В Соединенных Штатах это сначала американцы, затем иммигранты из Восточной и Южной Европы, наконец, негры, в труде которых уже больше не нуждаются. Так же дело обстоит в Латинской Америке и Южной Африке. Во Франции это число меньше прежде всего потому, что социалистические депутаты различают теорию и практику и умело продают свои услуги правящим финансовым магнатам, вместо того чтобы выжимать из них зарплаты для своих избирателей. Однако в России, Японии, Китае, Индии нет недостатка в работе, потому что нет нескромных зарплат. Промышленность убегает к цветным, а в белых странах еще оплачиваются изобретения и способы, экономящие ручной труд, поскольку они уменьшают давление зарплаты. Многие годы повышение производства путем технического усовершенствования при том же числе рабочих было последним средством выдержать это давление. Сейчас это давление невыносимо, ибо отсутствует сбыт. Когда-то зарплата в Бирмингеме, Эссене и Питтсбурге была стандартом, на который равнялись во всем мире; сегодня этот уровень определяет Ява, Родезия и Перу. Также следует иметь в виду, что у белых народов благородное общество, с его унаследованным богатством, его хорошим вкусом, его потребностью в настоящей роскоши, постепенно уничтожается. Большевизм

налогов — в Англии он начался еще перед войной • — на наследство и доходы, диктуемый завистью и инфляцией, проделал основательную работу, превратив целые состояния в ничто. Однако потребность в настоящей роскоши создавала и сохраняла качественный труд, способствовала росту и питала целую индустрию качества. Она соблазняла средние слои общества и приучала их самим выдвигать утонченные требования. Чем больше эта роскошь, тем более расцветает хозяйство. Когда-то это понял Наполеон, не занимавшийся политэкономическими теориями и потому лучше понимавший хозяйственную жизнь: его двор способствовал оживлению разрушенного якобинцами хозяйства. Снова образовалось высшее общество, видимо по английскому образцу, потому что высшее общество *анген гё\$lте* было ограблено, уничтожено, окончательно пришло в упадок. Если богатство, сконцентрированное в высших слоях общества, вызывает недоверие и становится опасным для владельца, презирается, штурмуется чернью, то юридическая воля к владению собственностью, воля к власти через владение исчезает. Честолюбие собственника, хозяина отмирает. Соперничество, конкуренция уже не оправдывают себя. Сидят по углам, отказываются от всего и экономят, — а при «экономии», то есть экономии труда других, любое высокоразвитое хозяйство неизбежно погибает. Одно связано с другим. Неквалифицированный белый наемный труд не имеет стоимости, на северных углях рабочая сила уже не нужна. Это было первое крупное поражение белых народов по отношению к массе цветного народа во всем мире, к которым принадлежат русские, южные испанцы и южные итальянцы, исламские народы, негры английской и индейцы испанской Америки. Это был первый угрожающий знак того, что белое мировое господство может быть побеждено цветной властью, ведущей классовую борьбу за спиной белого сообщества.

И несмотря на это, никто не хочет осознать настоящие причины (Сшпйе) и бездны (АВ\$шпсle) этой катастрофы. Белым миром правят преимущественно дураки — если, конечно, правят, в чем можно сомневаться. Около больничной койки белого хозяйства толпятся смешные авторитеты, не видящие дальше своего носа, которые на основании своих давно отживших узкохозяйственных, не важно — «капиталистических» или «социалистических», взглядов спорят о мелочах. И наконец: трусость делает слепым. Никто не вспоминает о последствиях этой более чем столетней мировой революции, которая, выйдя из трущоб больших белых городов, разрушила хозяйственную жизнь, и не только ее. Никто не замечает революцию, ни у кого не хватает духу видеть ее.

Как и прежде, «рабочий» является кумиром во всем мире, и «рабочему лидеру» не предъявляются никакие претензии по поводу его собственного положения. Можно с шумом обрушиваться на марксизм, но он скрыт в каждом сказанном слове. Его самые заклятые враги одержимы им и не замечают этого. И чуть ли не каждый из нас в глубине души является «социалистом» или «коммунистом». Отсюда поголовное нежелание признать факт классовой борьбы и сделать из него выводы. Вместо того чтобы решительно бороться с причинами катастрофы, пока еще, может быть, не поздно, пытаются устранить следствия, симптомы, даже не устранить, а затушевать, спрятать, отрицать. Вместо того чтобы критически посмотреть на революционную запредельность зарплаты, выдвигается новое революционное требование сорокачасовой рабочей недели — дальнейший шаг на марксистском пути, дальнейшее сокращение работы белых рабочих при том же самом доходе, то есть дальнейшее удорожание белого труда, ибо предполагается, как само собой разумеющееся, что политические зарплаты падать не могут. Никто не решается объяснить рабочим массам, что их победа есть

их самое тяжелое поражение, что рабочие вожди и рабочие партии воспользовались ими, чтобы получить власть, прибыльные должности, и не подумают выпустить жертвы из своих рук, и сами будут держаться до последнего. Но между тем цветные работают больше и дешевле, почти на пределе своих физических возможностей, в России — из-под кнута, и где-нибудь в других местах цветные уже осознают, что благодаря этому они обладают тайной властью над ненавидимыми белыми, господами сегодняшнего дня — или вчерашнего?

Существует призыв «ликвидировать» безработицу, «ликвидировать труд», то есть труд чрезмерный и бесцельный, поскольку в данных условиях уже не может быть труда необходимого, доходного, целесообразного. И никто не скажет себе, что издержки производства без сбыта, эти потемкинские деревни в хозяйственной пустыне, снова будут взысканы налоговым большевизмом, куда включается изготовление фиктивных платежных средств с остатков здорового крестьянства и городского общества. Демпинг, уменьшение стоимости, планомерно разрушает денежную политику, с его помощью отдельные страны пытаются сбывать свою продукцию. Это, по сути, ложный, более дешевый расчет реальной зарплаты и издержек производства, который обманывает потребителей и из-за которого часть нации, владеющая собственностью, вновь несет убытки. Однако падение фунта стерлингов, значительная жертва для английской гордости, не уменьшило число безработных ни на одного человека. Есть только один вид демпинга, естественно коренящийся в хозяйственной жизни и потому успешный: дешевые зарплаты и большой объем работы. На это опирается агрессивный русский экспорт и фактическое превосходство таких цветных производственных областей, как Япония, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Они подрывают белое производство либо своим экспортом, либо

отказом от импорта, обеспечивая себя более дешевыми собственными товарами.

И наконец, возникает последнее средство, средство отчаяния смертельно больного национального хозяйства: автаркия, или каким еще умным словом можно назвать поведение этого умирающего. Этим средством является политика экономической обособленности: война таможен, запреты на ввоз, бойкот, валютные барьеры и что еще там обычно изобретали или изобретут, чтобы построить осажденные крепости, почти как на настоящей войне. И в один прекрасный день более сильные в военном отношении страны могут потребовать, выставляя вперед свои танки и эскадрильи бомбардировщиков, открытия ворот и хозяйственной капитуляции. Ибо, и это следует постоянно повторять, хозяйство не есть царство в себе, оно неразрывно связано с большой политикой. Оно немислимо без сильной внешней политики и в конечном счете зависит от военной силы страны, в которой оно развивается или погибает.

Однако какой смысл имеет оборона крепости, если в ней находится враг, измена в форме классовой борьбы, которая заставляет сомневаться в том, кого и что, собственно, защищают? Это и есть тяжелые реальные проблемы времени. Большие проблемы существуют для того, чтобы большие умы ломали над ними голову. Однако во всем мире эти проблемы недооцениваются и низводятся до мелких иллюзорных проблем, а маленькие люди со своими мелкими мыслями и маленькими возможностями хотят представить себя значительными. Вина за хозяйственную катастрофу перекладывается на войну и военные долги, на инфляцию, на трудности с валютой. Словами, которых не стыдятся: «возвращение процветания», «конец безработицы», — завершается ужасная всемирно-историческая эпоха. О каком будущем может идти речь? Мы живем в одном из самых жестоких периодов истории, и никто не видит,

никто не понимает этого. Мы наблюдаем беспрецедентное извержение вулкана. Настала ночь, земля дрожит, потоки лавы заливают целые народы — а зовут пожарных! Но в этом узнается чернь, ставшая господином, в отличие от редких людей, «имеющих породу». Историю делают великие одиночки. То, что выступает «в массе», может быть только объектом для них.

Эта мировая революция не закончена. Она достигнет своего апогея, возможно, в конце этого столетия. Она неудержимо шагает вперед, навстречу своим последним решениям, ее великой исторической судьбы не избежала ни одна цивилизация прошлого, ее неизбежности подчиняются белые народы современности. Кто возвещает о ее конце или полагает, что победил ее, тот ее совершенно не понял. Ее чреватые потрясения десятилетия только начались. Выдающиеся личности эпохи гракховской революции (Сципион и его противник Ганнибал, Сулла и Марий), значительные события (закат Карфагена, испанские войны, восстание итальянских федералистов, восстания рабов от Сицилии до Малой Азии) — все эти формы представляют глубокий внутренний кризис общества, то есть завершение органического строения культурных наций. Этот кризис был и в Египте времен гиксосов, и в Китае времен «воюющих царств», и одновременно на всех отрезках истории, даже если мы мало знаем об этом. Здесь мы все без исключения являемся рабами исторической «воли», соисполнителями действующего органа органического происходящего.

В этом страшном двоеборье грандиозных сил, разыгрываемом над белым миром в войнах, в переворотах, между сильными личностями, исполненны-

ми счастья или трагизма, в игре величественных творений текучего мира, сегодня происходит наступление снизу, из недр городских масс, и слабая, не осознавшая своей необходимости оборона сверху. Конец будет виден тогда, когда соотношение будет необратимым, и он уже близок.

В такие времена есть две естественные партии, два фронта классовой борьбы, две внутренние силы и два направления, пусть они называются как угодно, и только две, все равно, в каком числе имеются партии и есть ли они вообще. Прогрессирующая большевизация масс в Соединенных Штатах доказывает это, доказывает русский стиль их мышления, надежд и желаний. Это одна «партия». Еще нет центра сопротивления ей в этой стране, не имеющей прошлого, а возможно, и будущего. Блестящие эпизоды долларового господства и его социальная структура, начавшаяся с Гражданской войны 1865 года, кажется, подходит к концу. Станет ли Чикаго Москвой Нового Света? В Англии Охгогс! Пипю Зоаегу, крупнейший студенческий клуб самого аристократического университета страны, подавляющим большинством принял решение: ни при каких обстоятельствах не сражаться за короля и отечество. Это означает конец убеждения, до сих пор пронизывавшего все партийные образования. Возможно, что англосаксонская власть движется в направлении исчезновения. А что же западноевропейский материк? Более всего от этого белого большевизма свободна Россия, в которой больше нет никакой «партии» — под этим именем правит орда на манер Чингисхана. Здесь больше нет никакой веры в программу, а только страх перед смертью, которая может наступить, если лишат продовольственных карточек, паспорта, сошлют в трудовой лагерь, пустят пулю или накинута веревку.

Напрасно некоторые слои общества стараются трусливо выступить за примирительную «середину» против правого и левого «радикализма». Само время